

Из городских копчёных лабазов я впервые попал в лесную деревню. Было начало пятидесятых, ещё повсюду на еловниках валялись гнилые танки — словно дохлые жуки.

Места же там райские, дороги песчаные и ровные, как тонкие стрелы — ни горки, ни пригорка, только витые завороты, будто и эти тележные тропы-стрелы покорёжило в военной огневой топке.

Мне шёл семнадцатый, и было чуть странно и страшно, что война так широко пылала. В детстве, пережитом в разбиваемых подвалах города, казалось, что воюющие бомбы падают лишь на наши несчастные каменные ули-

— Ах ты, милка необидчивый! Ничё, мы никому не скажем, а вот они какие доечки, вот, чужёшь? Эх, был бы ты постарее, настоящий довоенный, всех бы нас в жёны взял; а так тебе, родненькому, одна дорожка — к Граше-Гранёше.

Кто такая Граша, вызнать мне было не по настроению, только стал я, сам того не желая, малевать на горбатой клубной стенке советскую молочницу с передовым взглядом и со значительно большим, чем подобает, бюстом.

Пришёл кряжистый председатель и крупно заматерил меня:

— Этта шо тут за титьки, как фляга? Вместо титьки у неё

чешь? Хочешь, чтоб он перегорел? Утопчи яму, как нада, чтоб нашим передовым коровам на всю зиму его было, чтоб показатель у них стал на всю область.

А область эта была то ли Брянская, то ли Гомельская, а может, даже Черниговская; там Десна до сих пор такая течёт, что пей воду из неё ладошками; сто прохладных горстей черпнёшь — не напёешься: пресная, глотается, как воздух; божий напиток.

Село звалось Боровичи. Там Боровичей, как у нас Ивановок: Верхние и Нижние, Большие и Малые, Первые и Вторые — всё Боровичи. И говорят там люди, словно песню по-

шуршала по вспоротым войной логам, копя патроны и подрываясь, задаром губя свои любопытные ангельские души.

Самоструганные костыли, выгоревшие до безнадежной белизны картузы, перешитые дырчатые карманы, малыши с хлипкими помочами через плечико на одной ломаной пуговичке или даже крючочке — и ласка, льющаяся из всех глаз, ласка синяя, льняная, врожденная.

И этот председатель с неизменным своим орденом на мятом, но целом, не штопаном пиджаке, на тяжёлом трофейном велосипеде; говорили, что никакой он не окопник, а "писаришка штабной", однако слушались его

спасу. И получим на двоих медаль.

И, воодушевлённые, побежали вприскок, а свидетельницей заманили Грашу, совсем ещё тогда несмышлёныша.

Граша была побочной дочкой Евгена, жила отдельно с мамой-сиротой, он дочь не привечал, хоть прилюдно и не пинал. Граша родилась сухоруккой, а это был сталинский недуг, Евгений откуда-то знал.

Ну что, вернулись они с заснеженного затона, Вовка весь в трясучке и во льду; Граша лепетала, что, вправду, он то ли поскользнулся, то ли сам жиганул в прорубь, а Ванька его из неё тащил и кричал: "Грашка, беги к отцу, пусть медаль нам выписывает, я брата спас".

Это что такое? Мать отогрела обоих на печке и высекла; а Граше навсегда запретили водиться с этими полоумными.

Но после войны оба из тещедушных опять превратились в тугих боровичков, вытянулись, окрепли и сделались безотказными работниками, навоз с фермы только они и выдирали. Сутками могли там без продыху копать, вдвоём за десятерых это дерьмовое дело справляли.

Евгению же строили козни. Ночью в его сад заберутся и все яблоки на ветках понадукуют. Висит опозоренный белый налив, каждый плод будто луна щербатая.

И ведь поймать братцев ни разу не смогли: они и перепелами, и совами кричать умели, и даже председателю собаку заговаривать. Сидит на цепи псина, близкую перепелятину, исполняемую Иваном, в высоком воздухе вынюхивает, а на другом конце ровно покошенного колхозниками-подёнщиками сада лёгкий и прогонистый Вовка на ловких ходулях неслышно шастает, опираясь на долгую палицу, и лучшие яблоки выгрызает, ни одного не рвя в карман.

Лютю возненавидел Евгений обоих Заброд. Притом Иван повадился к Граше, пленил тем, что голоса меняет: то речью вылитого Молотова запустит, то забормочет, что твой всесоюзный староста дедушка Калинин из радиотарелки.

Граша себя, конечно, блюла; но в ту пору куда сухоруккой-то? Ясно, только с шалопутом. Открыто они не гуляли, однако при встречах друг дружке улыбались — застенчиво, словно две звёздочки на краешке ясного вечера.

В то лето, что я там был, Граша стала заглядывать в клуб смотреть мои малеванья днём, когда там пусто, мушливо и гулко.

Войдёт, встанет у двери и заворожено оглядывает мою дурацкую тётку с кривыми серпастыми пятиугольниками вместо груди.

Недаром, несмотря на увечье, доярки кликали меня к Граше: она была красавица. Глаза её смотрели, как два росистых василька из ржи, золотое пшеничное личико светилось будто изнутри. Вся фигурка её была тот же колосочек; едва созревший, тонкий, счастливый.

(Продолжение следует.)

ЮРИЙ ОНОПРИЕНКО

ГРАША

РАССКАЗ

цы; а где-то, в таких вот длительных рощах и лугах, стоит бесконечная тишина и, как сейчас, пахнет льном и хлебом.

Злая голодуха уже отступала, народ вокруг жил открытый и приветливый. Я, будущий художник-оформитель, приехал стажироваться на всё лето, и мне указали размалевать свежую колхозную избушку-клуб какими-то бодрими картинками и лозунгами.

Я плохо понимал, что такое колхоз; меня больше тянуло на распластавшуюся в уютной низинке ферму, где смелые девки-перестарки наливали мне гладкий глиняный кубанчик молока — мой суточный рацион, настоящее пиршество.

Доярочки встречали меня ласково, обнимали и тискали своими тёплыми руками; но это было потом, а сначала те заморенные шутницы устроили со мной таинственную смехоту, от которой я долго краснел.

— Молочка нада? — спросили они распевно. — Так сам и подои коровку-та!

И указали на дородного бычка, оставившегося в моё конопатое лицо большими спокойными мокрыми глазами.

— Ты сперва вымечко ей мягкой водичкой омой, потерёбкой, приучи; а потом за доечку, за доечку, вон она у пузца висит, ласковая...

И дали мне кружку с обогретой солнцем водицей, и стал я старательно мыть бычку его крепкие яички-яблочки, а он, лобастенький, жевал жвачку, мотал пухнатым коротким хвостом и оглядывался на меня с некоторым удивлением.

Доярки расхохотались всеми своими звонкими и надтреснутыми, тонкими и сорванными голосками — но не надолго, потому как хотели не издёвки, а короткой потехи; оттащили меня, молча пунцовеющего, от облегчённо вздохнувшего и ничего не понявшего бычка, и каждая прижала мои горящие щёки к своим большим парным тоскующим грудям:

должна быть звезда, а лучше две. Понял, диверсант? Мы тут воевали, а ты несознательной непотребностью буржуазной нас так тут пугаешь? Я тебя живо сдам, куда нада!

Председателя звали Евгений Родичев, и он был единственным, кто мне смутно не понравился.

Кругом стояли дивные перелески, гривки их на закате делались ярко-розовыми, как кремлёвские рубины, которые я однажды увидел в первом цветном киножурнале; но тут этих лесных берёзовых рубинов было много, бесщётно, и жили среди них простые сказочные люди, как раз такие, как в журналах, и лишь Евгений марал чистый мирный воздух криками-разрывами:

— Трах-та-тах, твою! Я в окопе сидел и орден за это от нашего великого правительства получил, кровью истёк из всего сердца, а ты вредишь моему колхозу? Ты что силос так заунывно топ-

ют, даже поругиваются нараспев и спорят с улыбкой и прибаутками.

Едва ль не половина их тогда были фронтовые калеки. Добрые бабы, которым посчастливилось стать не вдовами, а иным сделаться даже свежими жёнами, носили обрубленные мужей, словно больших дитятей, и купали их в жёлтых корытах и дворовых банях; и я сам видел такой обрубок, вся спина его была сплошной красно-сиреневый шрам.

Былой солдат просил помыслить его, я елозил поленым хозяйственным обмылком по его рытвинам и боялся, что рука моя нечаянно прорвёт эту упруго-морщинную кожурку, и провалится к его внутренностям, и напорется на минные осколки, что сидели под громадным шрамом и чувствовались моим трусливым юношеским пальцем.

Немало было и детей-инвалидов — детвора непрестанно

безропотно, поскольку времена были крепкие и резкие — как суровая нить.

Особенно Евгений допекал Заброду, парня чуть постарше меня. Правда, и было за что — Иван Заброды этот вырос неопишесым шалопутом. Таким же удался и его брат-двойничок Вовка.

Они были безотцовщиной, а это дело известно какое: безотцовщина всегда первой глядит в уркаганы.

Их бы давно впахнули в колонию, однако братья считались ещё и придурками; тихими, но патологическими выдумщиками.

Ну, представьте: увидя у вернувшегося в середине войны Евгена (вот такой окопник, сумел не довоевать) блестящий орден на лацкане, Иван, ещё мальчишка, шепнул брату:

— Мы тоже сейчас медаль заработаем. Пойдём на Десну, там в затоне прорубь. Ты в неё вроде бы упадёшь, а я тебя как будто

